

# Глава 3. Карцер

Если говорить о дате окончательного формирования тюремной системы, то я не назвал бы ни 1810 г. (когда был принят уголовный кодекс), ни даже 1844 г. (когда был введен закон, установивший принцип содержания заключенных в камерах). Я не остановился бы, наверное, и на 1938 г., когда были опубликованы труды Шарля Люка, Моро-Кристофа и Фоше, посвященные тюремной реформе. Я выбрал бы 22 января 1840 г., день официального открытия колонии для несовершеннолетних преступников в Меттрэ. Или, пожалуй, тот не отмеченный в календаре, но знаменательный день, когда один ребенок из Меттрэ сказал в агонии: «Как жаль, что я покидаю колонию так скоро»[569]. Это была смерть первого святого мученика пенитенциарной системы. Несомненно, за ним последовало много блаженных – если верить бывшим заключенным колоний, которые, вознося хвалу новым политикам наказания тела, заметили: «Мы бы предпочли побои, но камера нам больше подходит».

Почему Меттрэ? Потому, что это дисциплинарная форма в ее крайнем выражении; модель, в которой сосредоточены все принудительные технологии поведения. В ней – «обитель, тюрьма, коллеж и полк». Маленькие, в высшей степени иерархизированные группы, на которые разделены заключенные, построены сразу по пяти моделям: семьи (каждая группа представляет собой «семью», состоящую из «братьев» и двух «старших»), армии (каждая семья, подчиняющаяся главе, подразделяется на две роты; каждой из них руководит помощник главы; каждый заключенный имеет свой номер, его обучают азам военных упражнений; ежедневно проверяется чистота помещения, еженедельно производится осмотр одежды, трижды в день – перекличка), мастерской (с начальниками и старшими мастерами, обеспечивающими регулярность работы и отвечающими за обучение самых молодых заключенных), школы (каждый день – час-полтора уроков; обучают учителя и помощники глав), наконец – суда (ежедневно в общем зале происходит «распределение правосудия»: «Малейшее неповиновение наказывается, и лучший способ избежать серьезных нарушений – строжайше карать даже за самые ничтожные проступки; в Меттрэ наказывают за пустое слово»; основное наказание – заключение в камеру: ведь «изоляция – лучшее средство воздействия на нравственность детей; именно в одиночестве прежде всего голос религии, даже если он никогда не трогал их сердца, обретает всю свою эмоциональную силу»[570]; всякое заведение, функционирующее как институт наказания и отличное от тюрьмы, имеет своей высшей точкой камеру, на стенах которой черными буквами начертано: «Бог вас видит»).

Это взаимное наложение различных моделей позволяет показать специфику функции «муштры». Начальники и их помощники в Меттрэ должны быть не только судьями, учителями, старшими мастерами, младшими офицерами или «родителями», но в некотором смысле совмещать все эти роли в совершенно особом методе вмешательства. Они являются своего рода специалистами по поведению: инженерами поведения, ортопедами индивидуальности. Они должны создавать тела одновременно послушные и способные. Они

контролируют девять – десять часов ежедневной работы (ремесленной или сельскохозяйственной); они руководят прохождением групп на смотр, физическими упражнениями, военной подготовкой, следят за подъемом по утрам и своевременным отходом ко сну, маршировкой под рожок или свисток; они заставляют делать гимнастику[571], следят за чистотой и присутствуют при мытье детей. Муштра сопровождается постоянным наблюдением. Из повседневного поведения колонистов непрерывно извлекается знание, оно используется как инструмент постоянной оценки: «При поступлении в колонию ребенка подвергают своего рода допросу, чтобы получить сведения о его происхождении, положении его семьи, проступке, приведшем его на скамью подсудимых, и обо всех других правонарушениях, совершенных за его короткую и часто очень несчастную жизнь. Эти сведения записываются в таблицу, куда, в свою очередь, вносится вся информация о каждом колонисте, его пребывании в колонии и месте, где ему разрешено жить по освобождении»[572]. Такого рода моделирование тела делает возможным познание индивида, обучение техническому мастерству, закрепляет определенные виды поведения, а приобретение навыков неразрывно связано с установлением отношений власти; формируются хорошие сельскохозяйственные рабочие, выносливые и умелые. В ходе самой этой работы при надлежащем техническом контроле создаются подчиненные субъекты и знание о них, на которое можно положиться. Эта дисциплинарная техника, воздействующая на тела, производит двойное следствие: знание «души» и обеспечение подчинения. Вот результат, свидетельствующий об эффективности муштры: в 1848 г., когда «революционная лихорадка охватила все умы, когда школы Анжера, Ла Флеш и Альфора и даже коллежи взбунтовались, спокойствие колонистов Меттрэ лишь возросло»[573].

Образцовость Меттрэ особенно ярко проявляется в признанной специфике осуществляемой там муштры. Муштра соседствует с другими формами контроля, на которые она опирается: с медициной, общим образованием и религиозным наставлением. Но она не смешивается с ними совершенно. Не смешивается она и с собственно управлением. «Главы» семей и их помощники, воспитатели и старшие мастера должны были жить как можно ближе к колонистам. Одежда их была «почти такой же скромной», как у колонистов. Они практически никогда не покидали воспитанников, надзирали за ними днем и ночью, создавали в их среде сеть постоянного наблюдения. А для того, чтобы формировать самих старших, в колонии действовала специальная школа. Существенно важный элемент программы состоял в том, чтобы подвергнуть будущие руководящие кадры тому же обучению и тем же принуждениям, что и воспитанников: «В качестве учеников они подчиняются дисциплине, какую впоследствии будут насаждать в качестве учителей». Их обучали искусству отношений власти. Это первая педагогическая школа чистой дисциплины: «пенитенциарное» здесь не просто проект, ищущий своего обоснования в «гуманности» и оснований – в «науке», но техника, которая изучается, передается и подчиняется общим нормам. Практика, нормализующая посредством силы поведение недисциплинированных или опасных, в свою очередь, может быть «нормализована» путем технического совершенствования и рациональной рефлексии. Дисциплинарная техника становится «дисциплиной», которая тоже имеет свою школу.

Историки гуманитарных наук относят возникновение научной психологии к этому же времени: тогда же Вебер[574] начал использовать свой маленький циркуль для измерения

ощущений. То, что происходит в Меттрэ (и, чуть раньше или позже, в других европейских странах), явно относится к совершенно иному порядку. Это возникновение или, скорее, институциональное определение, как бы крещение, нового типа контроля – одновременно знания и власти – над индивидами, противящимися дисциплинарной нормализации. И все же, несомненно, появление этих профессионалов дисциплины, нормальности и подчинения равнозначно измерению дифференциального порога в формировании и развитии психологии. Скажут, что количественная оценка чувственных реакций могла по крайней мере обосновать себя за счет авторитета рождающейся физиологии и что уже по одной этой причине она вправе претендовать на место в истории знания. Но контроль за нормальностью был прочно вмонтирован в медицину или психиатрию, что гарантировало ему своего рода «научность»; он опирался на судебный аппарат, который прямо или косвенно обеспечивал ему ручательство закона. Таким образом, под покровительством двух солидных, опекунов, служа им связью или местом обмена, продуманная техника контроля над нормами продолжает развиваться вплоть до настоящего дня. Со времен маленькой школы в Меттрэ институциональные и специфические поддержки дисциплинарных методов стали более многочисленными. Их механизмы количественно умножились и распространились вширь. Разрослись их связи с больницами, школами, государственной администрацией и частными предприятиями. Осуществляющих их лиц стало больше, усилилась их власть, выросла техническая квалификация. Специалисты по недисциплинированности продолжили свой род. В нормализации нормализующей власти, в организации власти – знания над индивидами школа в Меттрэ составила эпоху.

\* \* \*

Но почему мы выбрали этот момент в качестве завершающей точки формирования определенного искусства наказывать, которое почти в прежнем виде практикуется поныне? Именно потому, что наш выбор несколько «несправедлив». Потому что он помещает «конец» процесса на обочинах уголовного права. Потому что Меттрэ – тюрьма, но не вполне: тюрьма, поскольку там отбывали заключение юные правонарушители, осужденные судами; и все же нечто иное, поскольку там содержались несовершеннолетние, обвиненные, но оправданные по 66 статье Кодекса, а также, как в XVIII веке, пансионеры, помещенные туда родителями в порядке наказания. Меттрэ как карательная модель располагается на границе собственно наказания. Это наиболее известный из целого ряда институтов, которые, далеко за пределами уголовного права, образовали то, что можно назвать «карцерным архипелагом».

Однако общие принципы, великие кодексы и последующие законодательства ясно говорили: никакого заключения «вне закона», без решения компетентного судебного органа, пора покончить с самочинными и все еще распространенными заточениями. И все же от самого принципа заключения «помимо» уголовного права фактически никогда не отказывались[575]. И если машина великого классического заключения была частично (лишь частично) демонтирована, то очень скоро ее вернули к жизни, переоборудовали и в некоторых отношениях усовершенствовали. Но что еще важнее, посредством тюрьмы ее привели в соответствие, с одной стороны, с законными наказаниями, а с другой – с дисциплинарными механизмами. Границы между заключением, наказаниями по решению суда (и дисциплинарными заведениями, размытые уже в классическом веке, начинают

стираться, образуя огромный континуум карцера, распространяющий пенитенциарные методы даже на самые невинные дисциплины, доводящий дисциплинарные нормы до самой сердцевины уголовно-правовой системы и воздействующий на любое правонарушение, мельчайшую неправильность, отклонение или аномалию, угрозу делинквентности. Тонкая, градуированная «карцерная» сеть с компактными заведениями, но и дробными и рассеянными методами заняла место самоуправного, массового и плохо интегрированного заключения классического века.

Не будем восстанавливать здесь всю ткань отношений, составлявшую сначала непосредственное окружение тюрьмы, а затем распространявшуюся все далее и далее вовне. Достаточно указать несколько вех, чтобы понять ее размах, и несколько дат, чтобы оценить ее раннее развитие.

В центральных тюрьмах были сельскохозяйственные отделения (первым примером стала тюрьма Гайона в 1824 г., за ней последовали тюрьмы Фонтевро, Дуэра и Буляра). Существовали колонии для бедных, беспризорных и бродячих детей (Пети-Бур была открыта в 1840, Оствальд – в 1842 г.). Были приюты, дома милосердия и благотворительные заведения для девиц-преступниц, «боящихся думать о выходе в беспорядочный мир», для «бедных невинных девочек, которым угрожает ранняя порочность из-за безнравственности матерей», или для несчастных девушек, подбираемых у дверей больниц и в меблированных комнатах. Были исправительные колонии, предусмотренные законом 1850 г.: оправданные или осужденные несовершеннолетние должны были «воспитываться сообща в строгой дисциплине и использоваться на работах в сельском хозяйстве и близких к нему отраслях промышленности»; позднее к ним присоединяют несовершеннолетних, приговоренных к ссылке без лишения прав, а также «порочных и строптивых воспитанников детских домов»[576]. И, все больше отдаляясь от системы наказания в собственном смысле слова, «карцерные» круги расширяются, форма тюрьмы медленно ослабевает и наконец полностью исчезает: здесь учреждения для брошенных или нищих детей, сиротские приюты (как Нэхоф или Мэниль-Фирмен), заведения для подмастерьев (вроде реймского Вифлеема или Дома в Нанси); еще дальше отстоят заводы-монастыри, например в Ла Соважэр, а затем в Тараре и Жюжюрье (работницы поступали сюда, когда им было примерно тринадцать, долгие годы жили в заточении, выходя во внешний мир только под надзором, получали не зарплату, а содержание и премии за усердие и хорошее поведение, которыми могли воспользоваться лишь по выходе). И затем, еще дальше, имелся целый ряд заведений, которые не следуют модели «компактной» тюрьмы, но используют некоторые карцерные механизмы: это благотворительные общества, организации нравственного совершенствования, бюро, занимающиеся распределением помощи и надзором, рабочие городки и бараки: их самые примитивные и неразвитые формы еще несут на себе все совершенно явные следы пенитенциарной системы[577]. И наконец, эта широкая «карцерная» сеть объединяет все дисциплинарные механизмы, функционирующие по всему обществу.

Мы видели, что тюрьма преобразовала в сфере уголовно-правовой юстиции карательную процедуру в пенитенциарную технику. Карцерный архипелаг переносит эту технику из тюремного института на все общественное тело, вызывая несколько важных последствий.

Этот огромный механизм устанавливает медленную, непрерывную и незаметную градацию, которая обеспечивает естественный переход от беспорядка к правонарушению и обратно – от нарушения закона к отклонению от правила, среднего, требования, нормы. В классическую эпоху, несмотря на определенную общую отсылку к проступку в широком смысле слова[578], порядки правонарушения, греха и дурного поведения были отделены друг от друга, поскольку каждый из них был сопряжен с особыми критериями и инстанциями (суд, епитимья, тюремное заключение). Лишение свободы, использующее механизмы надзора и наказания, действует, напротив, в соответствии с принципом относительной непрерывности. Непрерывности самих институтов, которые отсылают друг к другу (государственная помощь и сиротский дом, исправительное заведение, каторга, дисциплинарный батальон, тюрьма; школа и благотворительное общество, мастерская, дом призрения, пенитенциарный монастырь; рабочий городок, больница и тюрьма). Непрерывности критериев и механизмов наказания, которые, начиная с простого отклонения, постепенно ужесточают правила и утяжеляют наказание. Непрерывной градации органов власти, институционализированных, специализированных и компетентных (в порядке знания и порядке власти), которые, не прибегая к произволу, а в строгом соответствии с правилами, посредством констатации и оценки устанавливают иерархию, дифференцируют, санкционируют, наказывают и постепенно переходят от санкции против отклонения к наказанию преступления. «Карцер» с его многочисленными диффузными или компактными формами, институтами контроля или ограничения, осторожного надзора и настойчивого принуждения обеспечивает качественную и количественную передачу наказаний; выстраивает в ряд или располагает в сложном рисунке малые и большие наказания, щадящие и суровые формы обращения, плохие оценки и мягкие приговоры. Малейшая дисциплина как бы сулит: «Ты кончишь каторгой», – а самая строгая тюрьма говорит приговоренному к пожизненному заключению: «Я замечу любое отклонение в твоём поведении». Всеобщность карательной функции, которую XVIII век искал в технологии представлений и знаков, разработанной «идеологами», опирается теперь на распространение, на материальную, сложную, рассеянную, но сцементированную арматуру различных «карцерных» устройств. В результате определенное общее означаемое объединяет мельчайшую неправильность и величайшее преступление: это уже не проступок и не покушение на интересы общества, а отклонение и аномалия; именно оно неотступно преследует школу, суд, сумасшедший дом или тюрьму. Оно делает всеобщей в плане значения ту функцию, которую карцер делает всеобщей в плане тактики. Заменяя врага государя, враг общества превращается в девиантного индивида, несущего в себе многогранную опасность беспорядка, преступления и сумасшествия. Карцерная сеть связывает множеством отношений два длинных многосложных ряда – карательное и ненормальное.

Карцер с его плетением позволяет вербовать крупных «делинквентов». Он организует то, что можно назвать «дисциплинарными жизненными путями», на которых под видом исключений и отторжений приводится в действие механизм проработки. В классическую эпоху на задворках или в щелях общества существовала смутная, терпимая и опасная область «внезакопия» или по крайней мере того, что ускользало от когтей власти; неопределенное пространство, место формирования и прибежище преступности. Там по

воле случая и судьбы сталкивались бедность, безработица, преследуемая невинность, хитрость, борьба с властью имущими, отказ исполнять обязанности, попрание законов и организованная преступность. Пространство авантюры, которое обстоятельно и всяк на свой лад осваивали Жиль Блаз, Шеппард и Мандрэн. Через игру дисциплинарных различий и разветвлений XIX столетие проложило четкие пути, которые в рамках существующей системы посредством одних и тех же механизмов прививают послушание и производят делинквентность. Складывалась своего рода дисциплинарная «формация», непрерывная и принудительная, имевшая в себе нечто от педагогического плана и профессиональной сети. Она предопределяла жизненные пути, такие же надежные, такие же предсказуемые, как карьера государственных людей: благотворительные организации и общества, обучение ремеслу с проживанием у мастера, колонии, дисциплинарные батальоны, тюрьмы, больницы, богадельни и приюты. Эти сети вполне сложились уже в начале XIX века: «Наши благотворительные заведения представляют собой превосходно согласованное целое, благодаря которому нуждающийся ни на миг не остается без помощи от колыбели до могилы. Посмотрите на обездоленного: вы увидите, что он рождается подкидышем, попадает в ясли, потом в приют, шести лет поступает в начальную школу, позднее – в школу для взрослых. Если он не может работать, то его берут на заметку в окрестном благотворительном бюро, а если заболеет, то может выбирать из 12 больниц... Наконец, когда парижский бедняк подходит к концу жизненного пути, его старости дожидаются 7 богаделен, и зачастую благодаря их целительному режиму его никчемное существование длится куда дольше, чем жизнь богачей»[579].

Карцерная сеть не бросает неассимилируемого в смутный ад, у нее нет «снаружи». Одной рукой она, кажется, берет то, что отталкивает другой. Она накапливает все, даже то, что наказывает. Она не хочет терять даже то, что считает негодным. В паноптическом обществе, всецело сцепляющей арматурой которого является тюремное заключение, делинквент не находится вне закона; он с самого начала находится в законе, в самом сердце закона или по крайней мере в центре тех механизмов, что незаметно обеспечивают переход от дисциплины к закону, от отклонения к правонарушению. И хотя верно, что тюрьма наказывает делинквентность, эта последняя формируется главным образом в тюремном заключении и благодаря ему. Тюрьма, в свою очередь, увековечивает заключение. Тюрьма – лишь естественное следствие, не более чем высшая ступень этой устанавливаемой шаг за шагом иерархии. Делинквент – продукт института тюрьмы. И не следует удивляться тому, что во многих случаях биография осужденных проходит через все механизмы и учреждения, которые призваны, как принято думать, уводить прочь от тюрьмы. Тому, что в их биографиях можно усмотреть, так сказать, свидетельство неисправимо преступного «характера»: заключенный (например, тюрьмы города Манд), обреченный на тяжелый труд, был заботливо создан детством, проведенным в исправительной колонии согласно силовым линиям обобщенной карцерной системы. Напротив, лиризм маргинальности может черпать вдохновение в образе «человека вне закона», великого социального кочевника, рыщущего на задворках послушного, напуганного порядка. Но преступность рождается не на границах общества и не путем целенаправленных изгнаний, а посредством все более плотных встраиваний, под все более неотступным надзором, благодаря накоплению дисциплинарного принуждения. Словом, карцерный архипелаг обеспечивает, в глубинах тела общества, формирование делинквентности на основе мелких противозаконностей, наложение первой на последние и установление предопределенной преступности.

Но, пожалуй, самый важный результат карцерной системы и ее распространения далеко за границы законного заключения – то, что ей удастся сделать власть наказывать естественной и легитимной, по крайней мере понижая порог терпимости к наказанию. Она сглаживает все, что может казаться чрезмерным в отправлении наказания. Ведь она играет в двух регистрах, в которых сама разворачивается: в законном регистре правосудия и внезаконном регистре дисциплины. В самом деле, великая непрерывность карцерной системы с обеих сторон – закона и его приговоров – обеспечивает определенную правовую поддержку дисциплинарным механизмам, приводимым ими в исполнение судебным решениям и санкциям. От начала до конца этой сети, охватывающей столь многочисленные относительно анонимные и независимые «региональные» институты, с «тюрьмой как формой» передается модель великого правосудия. Установления дисциплинарных институтов воспроизводят закон, наказания имитируют приговоры и кары, надзор повторяет полицейскую модель, а над всеми этими многочисленными учреждениями возвышается тюрьма, которая, будучи их чистой и несмягченной формой, оказывает им своего рода государственную поддержку. Карцерное с его постепенным переходом от каторги или тюремного заключения к диффузным и легким ограничениям свободы сообщает определенный тип власти, утверждаемой законом и используемой правосудием как излюбленное оружие. Как могут казаться самочинными дисциплины и функционирующая в них власть, если они лишь приводят в действие механизмы самого правосудия, рискуя смягчить их интенсивность? Если они распространяют следствия правосудия и передают их до самых последних звеньев, позволяя избежать его строгости? Непрерывность карцера и распространение тюрьмы как формы позволяют легализовать или, во всяком случае, узаконить дисциплинарную власть, избегающую таким образом малейшей чрезмерности или возможных злоупотреблений ею.

Но напротив, карцерная пирамида дает власти налагать законные наказания контекст, где та предстает свободной от всякой чрезмерности и насилия. В тонкой, постепенной градации дисциплинарных аппаратов и предполагаемых ими «встраиваний» тюрьма отнюдь не является разгулом власти другого рода, а представляет собой просто дополнительную степень интенсивности механизма, который продолжает работать начиная с самых первых наказаний. Разница между новейшим «исправительным» заведением, куда помещают вместо тюрьмы, и тюрьмой, куда отправляют после явного правонарушения, едва ощутима (и должна быть таковой). Строгая экономия, в результате которой особая власть наказывать становится максимально незаметной. Отныне ничто в ней не напоминает о прежней чрезмерности суверенной власти, выказывающей свою силу на казнимых телах. Тюрьма продолжает – над теми, кто ей вверен, – работу, начавшуюся в другом месте и производимую всем обществом над каждым индивидом посредством бесчисленных дисциплинарных механизмов. Благодаря карцерному континууму инстанция, выносящая приговоры, проникает во все те другие инстанции, которые контролируют, преобразуют, исправляют и улучшают. Можно даже сказать, что на самом деле она отличается от них разве что особо «опасным» характером делинквентов, серьезностью их отклонений от нормы и необходимой торжественностью ритуала. Но по своей функции власть наказывать в сущности не отличается от власти лечить или воспитывать. Она получает от них и от их второстепенной, менее значительной задачи поддержку снизу, которая не становится от

этого менее важной, поскольку удостоверяет ее метод и рациональность. Карцерное натурализует законную власть наказывать, точно так же, как «легализует» техническую власть дисциплинировать. Приводя их таким образом к однородности, изглаживая насильственное в одной и самочинное в другой, смягчая последствия бунта, который обе они могут вызывать, а значит, делая бесполезными их ожесточение и неистовство, передавая от одной к другой одни и те же рассчитанные, механические и незаметные методы, карцер позволяет осуществлять ту великую «экономия» власти, формулу которой искал XVIII век, когда впервые встала проблема аккумуляции людей и полезного управления ими.

Действуя по всей толщине общественного тела и беспрестанно смешивая искусство исправления с правом наказывать, всеобщность карцера понижает уровень, начиная с которого становится естественным и приемлемым быть наказанным. Часто спрашивают, почему до и после Революции был подведен новый фундамент под право наказывать. И, несомненно, ответ следует искать в теории договора. Но важнее, пожалуй, задать обратный вопрос: как людей заставили признать власть наказывать или, если сказать совсем просто, терпеливо переносить наказание? Теория договора может ответить на этот вопрос лишь фикцией юридического субъекта, дающего другим власть осуществлять над ним то право, каким он и сам обладает по отношению к ним. В высшей степени вероятно, что огромный карцерный континуум, обеспечивающий сообщение между властью дисциплины и властью закона и простирающийся неразрывно от малейших принуждений до самого длительного карательного заключения, образовал технический и реальный, непосредственно материальный дубликат этой химерической передачи права наказывать.

4

Благодаря новой экономии власти карцерная система, являющаяся ее основным инструментом, сделала возможным возникновение новой формы «закона»: смеси законности и природы, предписания и телосложения – нормы. Отсюда целый ряд последствий: внутреннее расслоение судебной власти или по крайней мере ее функционирования; все более трудная работа судей, которые словно стыдятся выносить приговор; яростное желание судей измерять, оценивать, диагностировать, распознавать нормальное и ненормальное; претензии их на заслугу исцеления или перевоспитания. Ввиду всего этого бессмысленно верить в чистые или дурные намерения судей или даже их подсознания. Их огромная «тяга к медицине» – которая постоянно проявляется и в обращении к специалистам-психиатрам, и во внимании к криминологической болтовне, – выражает тот главный факт, что отправляемая ими власть «утратила естественные свойства»; что на определенном уровне она управляется законами; что на другом, и более фундаментальном, уровне она действует как нормативная власть; они осуществляют именно экономию власти, а не экономию своих угрызений совести или гуманизма, и именно первая заставляет их выносить «терапевтические» приговоры и постановления о «реадаптационном» заключении. Но, наоборот, если судьи все с меньшей готовностью приговаривают ради приговора, то судебная деятельность возрастает точно в той мере, в какой распространяется нормализующая власть. Поддерживаемая вездесущностью дисциплинарных устройств, опирающаяся на все карцерные механизмы, нормализующая власть становится одной из основных функций нашего общества. Судьи нормальности

окружают нас со всех сторон. Мы живем в обществе учителя-судьи, врача-судьи, воспитателя-судьи и «социального работника»-судьи; именно на них основывается повсеместное господство нормативного; каждый индивид, где бы он ни находился, подчиняет ему свое тело, жесты, поведение, поступки, способности и успехи. Карцерная сеть в ее компактных или рассеянных формах, с ее системами встраивания, распределения, надзора и наблюдения является в современном обществе великой опорой для нормализующей власти.

5

Карцерная ткань общества обеспечивает как реальное присвоение тела, так и постоянное наблюдение за ним. По своим внутренним свойствам она является аппаратом наказания, самым совершенным образом отвечающим новой экономии власти, и инструментом формирования знания, в котором нуждается эта экономия. Ее паноптическое функционирование позволяет ей играть эту двойную роль. Благодаря своим методам закрепления, распределения, записи и регистрации она долгое время остается одним из наиболее простых, примитивных, наиболее материальных, но, пожалуй, и самых необходимых условий чрезвычайного развития и распространения экзамена, объективирующего человеческое поведение. Если после века «инквизиторского» правосудия мы вступили в эпоху правосудия «экзаменационного», если, еще более общим образом, метод экзамена смог столь широко распространиться по всему обществу и в какой-то мере дать начало гуманитарным наукам, то одним из основных инструментов этого были множественность и тесное взаимоналожение различных механизмов заключения. Я не говорю, что гуманитарные науки возникли из тюрьмы. Но если они смогли образоваться и произвести во всей структуре (episteme) знания известные глубокие изменения, то потому, что они были сообщены специфической и новой модальностью власти: определенной политикой тела, определенным методом, позволяющим сделать массу людей послушной и полезной. Эта политика требовала включения определенных отношений знания в отношения власти; она нуждалась в технике частичного взаимоналожения подчинения и объективации (*assujetissement et objectivation*); она принесла с собой новые процедуры индивидуализации. Карцерная сеть образует один из остонов этой: власти – знания, сделавшей исторически возможными гуманитарные науки. Познаваемый человек (как бы его ни называли – душой, индивидуальностью, сознанием, поведением) является объектом – следствием этого аналитического захвата, этого господства – наблюдения.

6

Несомненно, это объясняет удивительную прочность тюрьмы – нехитрого изобретения, которое тем не менее бранили с самого рождения. Если бы она была лишь инструментом отторжения или подавления в руках государственного аппарата, то было бы куда легче изменить ее слишком заметные формы или найти ей более приемлемую замену. Но, глубоко укорененная в механизмах и стратегиях власти, она могла ответить на любую попытку преобразования огромной силой инерции. Характерно одно обстоятельство: когда заходит речь об изменении режима заключения, противодействие исходит не только от судебного института; сопротивление оказывает не тюрьма как уголовное наказание, а тюрьма со всеми ее установлениями, связями и внесудебными следствиями; тюрьма как узловая точка

в общей сети дисциплин и надзоров; тюрьма, поскольку она функционирует в паноптическом режиме. Это не означает ни того, что она не может быть изменена, ни того, что она раз и навсегда необходима для такого общества, как наше. Наоборот, можно выделить два процесса, которые в самой непрерывности процессов, обеспечивающих функционирование тюрьмы, способны серьезно ограничить ее применение и преобразовать ее внутреннее функционирование. И, несомненно, эти процессы в значительной степени уже начались. Первый из них снижает полезность (или увеличивает неудобства) делинквентности, устроенной как особая противозаконность, замкнутая и контролируемая; так, образование крупных противозаконностей в государственном или международном масштабе, которые непосредственно связаны с политическими и экономическими аппаратами (таковы финансовые противозаконности, службы разведки, торговля оружием и наркотиками, спекуляция недвижимостью), делает очевидной неэффективность несколько грубой и бросающейся в глаза рабочей силы делинквентности. Или еще, уже в меньшем масштабе: поскольку экономическое обложение сексуального наслаждения осуществляется более действенно путем продажи противозачаточных средств или косвенно через книги, фильмы и спектакли, архаичная иерархия проституции в значительной мере утрачивает прежнюю полезность. Второй из упомянутых процессов – рост дисциплинарных сетей, умножение их обменов с уголовно-правовым аппаратом, придание им все более важных полномочий, все более массовая передача им судебных функций. Поскольку медицина, психология, образование, государственная помощь и «социальная работа» все больше участвуют в контролирующей и наказывающей власти, уголовно-правовая машина, в свою очередь, может принять медицинский, психологический и педагогический характер. Это лишний раз доказывает, что «шарнир» в форме тюрьмы становится менее полезным – как механизм, обеспечивающий, через зазор между пенитенциарным дискурсом и следствием тюрьмы (консолидацией делинквентности), связь между уголовно-правовой властью и дисциплинарной властью. Среди всех этих механизмов нормализации, которые становятся все более строгими в своем применении, специфика тюрьмы и ее связующая роль несколько теряют смысл.

Если можно говорить об общей политической проблеме в связи с тюрьмой, то она заключается не в том, должна ли или не должна тюрьма быть исправительным учреждением; и не в том, кто должен иметь в ней большую власть – судьи, психиатры и социологи или администраторы и надзиратели; и даже не в том, следует ли нам сохранить тюрьму или лучше перейти к другой форме наказания. В настоящее время проблема связана, скорее, с резко возросшим использованием механизмов нормализации, которые чрезвычайно способствуют широкому распространению воздействий власти посредством установления новых объективностей.

\* \* \*

В 1836 г. один корреспондент «La Phalange» писал: «Моралисты, философы, законодатели, льстецы цивилизации, вот ваш план Парижа, аккуратного и приглаженного, вот усовершенствованный план, где все сходные вещи собраны вместе. В центре и в первой городской черте – больницы для лечения всех болезней, богадельни для всевозможной нищеты, сумасшедшие дома, каторжные тюрьмы для мужчин, женщин и детей. По обочине

первого кольца – казармы, суды, полицейское ведомство, жилища надсмотрщиков, площадки для эшафотов, дома палача и его подручных. По четырем углам – палата депутатов, палата пэров, академия и королевский дворец. Снаружи центрального кольца – службы, обеспечивающие его существование: торговля с надувательством и банкротством, промышленность с яростной борьбой, пресса с ложью и увертками, игорные дома; проституция, люди, умирающие от голода или погрязшие в разврате, всегда готовые раскрыть ухо для гласа Гения Революций, бессердечные богачи... Словом, жестокая война всех против всех»[580].

Остановлюсь на этом анонимном тексте. Сегодня мы далеки от страны публичных казней, усеянной колесами, виселицами и позорными столбами. Мы далеки также от мечты, которую лелеяли реформаторы менее чем пятьюдесятью годами ранее: о городе наказаний, где тысячи театриков разыгрывали бы бесконечное многокрасочное представление правосудия, где наказания, воспроизводимые во всех деталях на декоративных эшафотах, создавали бы народное празднество свода законов. Город-карцер с его воображаемой «геополитикой» управляется на совершенно других началах. Выдержка из «La Phalange» напоминает нам важнейшие из них. О том, что в центре этого города и словно для того чтобы удерживать его на месте, находится не «центр власти», не сеть силы, а разветвленная сеть различных элементов – стены, пространство, учреждение, правила, дискурс. Что, следовательно, моделью города-карцера является не тело короля с исходящими от него властями, не объединение волеизъявлений в договоре, рождающее индивидуальное и вместе с тем коллективное тело, но стратегическое распределение элементов различной природы и уровней. Что тюрьма – не дочь законов, кодексов или судебного аппарата; что она не подчиняется суду и не является послушным или негодным инструментом исполнения судебных приговоров или достижения желанных для суда результатов; что как раз суд занимает внешнее и подчиненное положение по отношению к тюрьме. Что в своем центральном положении тюрьма не одинока, но связана с целым рядом других «карцерных» механизмов, которые представляются достаточно самостоятельными (поскольку их назначение – облегчение страданий, лечение и помощь), но которые, подобно тюрьме, все расположены отправлять нормализующую власть. Что эти механизмы применяются не к нарушениям «основного» закона, но к аппарату производства – к «торговле» и «промышленности», – ко всему множеству противозаконностей во всем многообразии их природы и происхождения, их специфической роли в прибыли и в различном отношении к ним карательных механизмов. И что в конечном счете главное для всех этих механизмов – не унитарное функционирование аппарата или института, а необходимость борьбы и правила стратегии. Что, следовательно, понятия институтов репрессии, отторжения, исключения и маргинализации непригодны для описания образования, в самом сердце города-карцера, коварной мягкости, неявных колкостей, мелких хитростей, рассчитанных методов, техник, наконец, «наук», позволяющих создать дисциплинарного индивида. В этом центральном и централизованном человечестве, результате и инструменте сложных отношений власти, в телах и силах, подчиненных многочисленным механизмам «заклучения», в объектах дискурсов, которые сами являются элементами этой стратегии, мы должны слышать далекий гул сражения[581].